

Деревушка спала, уютно укутанная чёрным одеялом осенней ночи. И только окна третьей с краю избы, известной всем как изба Егориных, тускло светились от угасающих огарков свеч.

Роды были очень тяжёлыми. Деревенская повитуха сбилась с ног, бегая вокруг молодой девки с разметавшимися по белым сугробам подушек густыми длинными косами цвета гречихи. Сгорбленная скорее от тяжести прожитых лет, чем от возраста старуха, её мать, стояла на коленях в красном углу и скороговоркой бормотала молитвы, изредка выходя в сени, где волновались остальные домочадцы, и на задаваемый стариком вопрос, который волновал всех: «Ну что, Татьяна, ну что?..» – только причитала и утирала щёки углом расписного платка.

На третье утро решено было позвать знахарку – ведьму-травницу, живущую на отшибе к лесу, подальше от деревенских. Второпях запрягли телегу. Меньшой брат роженицы, Матвеевша Егорин, разрываясь между тревогой за сестру и жалостью к любимому коню Серко, с тяжёлым сердцем хлестал и без того идущее крупной рысью послушное животное, надеясь добраться до лесного домика и обратно как можно скорее.

Знахарка прибыла вовремя. Несколько часов она не переставая плела таинственные заклинания, обращаясь то ли к Богу, то ли к Дьяволу. Но вся семья уже была готова надеяться хоть на того, хоть на другого...

Травы и наговоры облегчили боль, и роженица перестала метаться. Мальчик появился на свет синюшным, еле дышащим.

Отец новорождённого в это время находился далеко от дома – по возрасту он был призван на службу. Шла война. Сейчас она грохотала где-то далеко и была для жителей этой деревни скорее словом, нежели осязательным событием. Однако то, что война идёт, молчаливо отразилось на укладе жизни: во всех дворах оставались только старики, женщины и дети.

Егорины, измученные бессонным ожиданием, прижавшиеся друг к другу на лавке в сенах, как стайка замёрзших птичек, наконец вздохнули с облегчением. Жива! Жива всё-таки наша Февроньюшка!..

Февронья была всеобщей любимицей и младшей из четырёх дочерей, одной из двух сестёр, оставшихся при родителях. Крепкая, бойкая дивчина с не по-крестьянски тонкими, красивыми руками обжигала радостным огнём бирюзовых глаз. Когда она танцевала, тяжёлая коса очерчивала танцующую кругами, и будто невидимые икры сыпались из-под быстро отстукивающих по деревянным доскам каблуков. В умении острословить и шутить она не знала себе равных среди подруг, умея при том никогда никого не обидеть, не задеть за живое. А её залихватистый смех украшал звёздной россыпью каждые деревенские посиделки.

При всей своей любви к гулянкам Февронья была толковой помощницей по хозяйству, успевая и то и другое. Охотно возилась на огороде, нежно любила цветы. Каждая травинка радовала её весной, каждый листочек на дереве она готова была ласкать как родного. Её приводила в восторг жизнь во всех своих проявлениях.

По старшинству замуж её выдавали последней. Свататься к Роне пытались многие. Побаиваясь, обращались к её отчиму. Отчим, полюбивший и взявший в свой дом мать Февроньи – вдову с шестью детьми, был человеком внешне суровым, но к домочадцам относился по-доброму. Детей Татьяны от первого брака он воспитывал как своих, прижимая руку к груди, называл родными. Девушек не отдавал замуж, не спросив их согласия. Поэтому решающее слово всегда оставалось за невестой.

Не один раз устраивались для Февроньи смотрины. Наконец ей приглянулся широкоплечий молодчик из погорелой хаты, сирота. Открытое выражение лица и широкая добродушная улыбка Михаила вызывали симпатию у любого, кто видел их. Невеста и жених несколько раз обменялись взглядами. И хотя Февронья каждый раз опускала глаза – невидимая связь, как молчаливый сговор, успела установиться между ними. Поэтому в ответ на вопрос отчима: «Люб ли тебе Михаил?..» Февронья лукаво улыбнулась, отвела глаза и тихо ответила: «Люб, батенька».

С того дня девушка вплетала в косу две красные ленты вместо одной – в знак помолвки. Другие деревенские парни смотрели вслед невесте с теперь уже безнадежным восхищением.

Свадьбу сыграли пышно. Молодые остались жить в родительском доме, поскольку своего у Михаила не было. Парень влился в семью, будто всегда и был тут, крепко подружился с мужем средней сестры Марфы (пара тоже жила под материнским крылом, старшие дети Татьяны успели отселиться), оказался работящим и внимательным к своей супруге. В молодой семье царили мир и лад. Старушка-мать день за днём не могла нарадоваться их счастью.

Вскоре Февронья раскрылась с другой, прекрасной, доселе незнакомой её родным стороны. Она с горячим нетерпением – и одновременно ангельским терпением – ожидала своего первенца. Мечтала о мальчишке как о самом заветном подарке. Иногда она садилась на лавку и, замирая, рассеянным, но в то же время будто сосредоточенным на чем-то невидимом для остальных взглядом подолгу утыкалась куда-то вдаль, при этом заглядывая словно бы внутрь себя и ведя мысленную беседу с растущим внутри неё живым существом.

Все соседи и близкие любовались этой новой, притихшей Февроньей, весь ослепительный свет которой, раньше так щедро раздариваемый

людям, теперь перестал искриться, равномерно и мягко рассеявшись над всем её существом. Родные были уверены, что из неё выйдет прекрасная мать.

Один только раз всколыхнуло этот удивительный свет, будто от дуновения ветра покачнулось пламя горящей свечи. Февронья была тогда на восьмом месяце. Всю деревню переполошило небывалое много лет кряду происшествие: на пороге зажиточного дома утром нашли младенца-подкидыша. Судили да рядили всем поселением, но так и не сошлись на том, кто же могла быть его мать. Февронья, Марфа и Татьяна были тут же. Марфа всё норовила кивнуть на нелюбимую ею соседку. Татьяна только слушала, волновалась. Младшая – тоже слушала, скользила бирюзой своих глаз по лицам испуганно, впервые – с недоверием.

Поздним вечером, перед сном, когда Татьяна уже собиралась укладываться и сматывала пряжу, Февронья, за вечер едва проронившая два слова, тихо спросила у матери:

– Мамочка, да как же это можно, чтобы свой ребёночек оказался не нужен?

При этом она не поднимала глаз и с какой-то невнятной опаской обеими руками легонько обняла свой внушительный к тому времени живот, будто защищая от недоброжелательного внешнего мира. Мать вздохнула и даже ненадолго перестала сматывать нитки.

– Всяко бывает на свете, Февроньюшка... Всяко...

– Как же так? – совсем тихо пошептала она, так, что близкие её уже не услышали. На следующий день она, казалось, стала прежней и всё так же ждала рожденья своего малютки.

...Эти двое бессонных суток раскололи напополам священное ожидание. Крохотный младенец дрожал в колыбели всем телом, хрипло хватая воздух. Февронья лежала на кровати рядом, неподвижная, как покойница, и, казалось, совсем не дышала. Овал её обескровленного истончившегося лица обозначали на вываренной белизне подушки только косы, казавшиеся тёмными в ранних осенних сумерках.

Мать Февроньи, поседевшая к своим сорока пяти годам, отошла от колыбельки и склонилась над дочерью. Осторожно вытерла влажной прохладной тряпкой лоб спящей. Украдкой вздохнула. Что-то теперь будет?..

Притихшая семья, стараясь не шуметь, укладывалась спать. Старик с неожиданно резким кряхтеньем залез на печь, старуха шикнула на него: чего шумишь! «О-хо-хох...» – едва слышно отозвался старик и повернулся поудобнее на другой бок. Изба погрузилась в предрассветную тишину, нарушаемую только сиплым дыханием спящих да еле слышным хрипом младенца.

...Первые лучи красного не выспавшегося солнца вернули лёгкий, едва заметный румянец на лицо Февроньи. Одеяло на её груди начало наконец вздыматься и опадать заметно для глаза, бесшумно и равномерно. Этого никто не видел – все спали, утомлённые переживаниями, так крепко, словно не смыкали глаз целый год.

В неподвижности всё ещё серых утренних сумерек, никем не замеченное и не ожидаемое, тем временем случилось ещё одно событие. Новорождённый мальчик перестал дышать.

Через несколько минут после этого, по случайности или по странному наитию, проснулась Февронья. С трудом приподнялась она на кровати. Осмотрелась кругом, и ищущий взгляд её прояснился. Молодая мать встала, подержалась немного на слабых ногах, шатаясь из сторо-

ны в сторону. Несколько неуверенных, но упрямых шагов по направлению к колыбели отняли чуть не все её силы.

Душераздирающий крик, каким не кричат даже мученики, сжигаемые заживо, словно хлыст из обнажённой боли рассёк утренний воздух и разбудил в мгновение ока всё семейство. А также несколько семей из соседних домов.

От этого крика, тяжело взмахивая крыльями, снялся с огромного гнезда на трубе дома аист и улетел куда-то в рассвет. В окно напротив колыбели был виден уменьшающийся, чёрный в розоватом зареве, силуэт птицы. На обжитое, насиженное годами место, которым была для белокрылого соседа труба дома Егориных, аист потом так и не вернулся.

Случайно заметив в окне улетающую птицу, Февронья перестала кричать. Она остекленевшим взглядом проводила аиста, исчезнувшего через пару секунд за деревянной рамой окна, и как подкошенная рухнула на колени. Живая, трясущаяся всем существом своим копна распущенных волос рыдала у колыбели. К ней подскочили – и поняли, что случилось несчастье. Старшая сестра Марфа от ужаса зажала ладонью рот и как зверь метнулась к кровати своего двухлетнего сына. Белокурый малыш, едва проснувшись, уже успел заплакать. Февронью обнимали за плечи, говорили что-то – она ничего не слышала, никого не видела...

Изба густо и разноголосно наполнилась детским и женским плачем, причитаниями, произносимыми громким шёпотом молитвами. Надо всем этим сверху нависало, накрывало, как крышкой, доносилось с печи: «Что ты будешь делать!.. Что ты делать будешь, а!» – это отчим злобно ругался на мирозданье.

Рыдания Февроньи постепенно становились тише, тише, пока не прекратились совсем. Юная мать вдруг резко встала с колен, будто выросла, возвысилась над собственным горем. Гречневые волосы распались посередине, открыв лицо. Страшное это было лицо. Остановившиеся бесцветные глаза смотрели в пространство, превратившись в одни зрачки – бездонные, пугающе-чёрные, как два иссохших колодца.

Её довели до лавки и усадили. Медленно накренясь, она опустилась на бок, да так и пролежала весь день, не меняя позы. Родным не удалось уложить её обратно в мягкую кровать – у убитой горем молодой женщины не было сил даже на то, чтобы сделать несколько шагов. Попытки накормить её с ложки также оказались безуспешными. Стало ясно, что младшая дочка занемогла.

Пошептавшись о грехах своих тяжких, похоронили некрещённого ребёнка без присутствия матери. Чтобы не волновать лишний раз, при ней не говорили о похоронах.

С того дня чёрная туча поселилась над крышей дома Егориных. Отяжелело и потемнело от осенних дождей опустевшее аистиное гнездо. Погас смех, ранее часто звучащий в бревенчатых стенах. Даже оконца, казалось, стали меньше и день за днём едва пропускали солнечный свет...

Прошёл месяц. Февронья так и не пришла в себя, не реагировала на утешения родных, упрямо молчала, опустив подбородок на грудь и выставив вперёд лоб. Соседки, прищёлкнувая языком, говорили, что младшая дочь Егориных онемела от горя. «Не дай бог вам такого несчастья, не дай бог!» – обязательно прибавляли они и суеверно стучали костяшками закрубелых пальцев по дереву.

В один осенний день, когда семья собиралась за урожаем на капустные грядки, Февронья тихим голосом попросилась с ними.

– Ожила!.. – охнула мать, и заплакала от радости. – Ожила, детонька!..

Семья радостно шла огородами, то и дело оглядываясь на плетущуюся сзади Февронью. Её не торопили, порой пытались вовлечь в разговоры, натянуто-непринуждённые. Больная не отвечала. Шагала резко, рывками, всё время глядя себе под ноги. Но рады были и этому.

На огороде все принялись за работу. Февронья же неожиданно повела себя странно. Начала ходить между грядок, вертя головой туда-сюда, сосредоточенно высматривая что-то, как если бы уронила на землю какую-нибудь мелочь: брошку, обручальное кольцо... Но брошей младшая дочь давно не носила, обручальное колечко было на ней, а поиски продолжались. Родные глядели с опаской. Не трогали.

...На вечерней заре все возвращались домой, везя в подогнанной отчимом телеге и неся в руках не поместившиеся ярко-зелёные шары капусты. Февронья шла с ними, крепко обхватив ладонями и прижав к себе собственноручно снятую с грядки небольшую капустную головку.

Вернувшись, урожай дружно складывали в сарай на хранение. Впервые за долгое время сдержанно, будто не веря в хорошие перемены, улыбались. Едва успевшая появиться радость, пока ещё окончательно не решившая, забрезжить ей или нет, смутным предчувствием восхода колебалась над головами.

Февронья подошла к родным и отчего-то пугливо заглянула в тёмные недра сарая. Лицо её при этом странно вытянулось, а руки безотчётно сильнее прижали к себе беловатый, ещё даже не набравший зелени, кочан. Мать доверительно протянула руки к её ноше:

– Давай сюда, Ронюшка! Умница, принесла, помогла нам! Положим на зиму!

Чтобы кормить Роню всё это время, матери приходилось уговаривать её на каждую ложку, как ребёнка. Этот тон за последний месяц стыдливо закрепился за занемогшей дочкой, как единственный, с которым к ней можно было обратиться.

– На зиму, – повторила Февронья, и глаза её остро, нехорошо сверкнули. – Не отдам. Ванюшу – не отдам. Никому больше.

– Ронюшка, какого Ванюшу? – дрогнувшим от нехорошо кольнувшего в сердце предчувствия пролепетала мать, – Нет здесь Ванюши! А это капуста... С огорода... Отдай...

– В капусте детей находят. В капусте, ты сама мне так говорила. Я своего сыночка потеряла – я и нашла его снова. Ванюша мой. Ванечка. Ванюша.

– Отдай, Роня. Мы положим... – подошла Марфа, заподозрив неладное, и тоже протянула открытые руки к зелёному кочану Рони.

Девушка рывком отвернулась от родственниц, защитив кочан спиной.

– Не отдам. Ванюша!

Мать только всплеснула руками...

* * *

В маленьких селениях слухи распространяются удивительно быстро. Скоро во всех дворах знали, что меньшая дочь Егорина тронулась умом.

Соседки со всей улицы собирались, чтобы поглазеть на то, как Февронья, снова казавшаяся прежней в своей бойкости и искристости, лепит во дворе снеговика, поглядывая на оставленную на лавке у окна капусту и крича ей бодрым, исполненным искреннего счастья голосом:

– Смотри, Ванечка, какой снеговик получается! Загляденье! Какой нос у него смешной, красный весь! Как морковка! Это от мороза. Большой нынче мороз, Ванечка! Да твоя мама его не боится!

И она заливалась золотистым смехом, сияла побирюзовевшими снова глазами и подбрасывала рассыпчатый снег. Он сверкал маленьким облачком над её головой, опадал, украшая платок и полушубок блестками. Неперевязанные лентой косы, поймавшие в свое плетение золотистую солнечную нить, обмахивали воздух вокруг неё пышными кистями, рискуя окончательно расплестись. Матвейка бегал вокруг и помогал сестре катать снежные шары. Для него это была забава!..

Соседки крутили пальцами у висков и сокрушённо, тяжело переглядывались. Проходившие мимо старики – из тех, что остались в деревне, – ширяя в сторону седыми острыми бородами, спугивали их:

– А ну, пошли прочь отседа! Чего, юродивой не видели? Тоже зрелище... Лучше б щи по домам варили! Бабы-дуры...

Испуганные бабы стайкой отшатывались от каждого такого прохожего, иногда отвечая хлесткой шуткой, и возвращались к оградке, за которой Февронья бережно выносила капусту на мороз, завёрнутую в стёганое детское одеялко...

Преобразившуюся больную теперь было не узнать. Она целыми днями раскладывала кусочки ткани, мастера из них распашонки и прилаживая их к своей капусте, а по вечерам нежно уговаривала Ванюшу не капризничать и спать, тихо пела ему колыбельные... Марфа, измученная вознёй со своим беспокойным сыном, раздражалась на сестру: «Вместо того чтоб впустую, лучше б Данилке моему спела да покачала его часок-другой! А то угомону нет никакого...» Но Февронья не замечала никого вокруг и сетований сестры как будто не слышала.

...Тем временем война своей тяжёлой смертоносной поступью дошагала и до деревни, в которой жили Егорины. Хаты были разграблены, коровы и лошади – угнаны для нужд полка, куры – убиты и за раз съедены голодными солдатами. Егорин-старший, в надежде сохранить у себя Серко, додумался вбить коню в переднее копыто гвоздь. Солдатам он сказал, что лошадь хромает и совсем не сгодится им ни под седло, ни в оглобли. Посмеявшись, те легонько оттолкнули старика и вывели Серко на двор. Свистнув, чтобы конь пошёл рысью, погоняли его так пару кругов. Охромевший внезапно для самого себя, Серко с непривычки сильно припадал на правую переднюю ногу. «Тьфу ты, и впрямь хромый! Маета одна...» – рассудили солдаты, и ушли несолоно хлебавши. Остановившийся конь, поводя ушами, смотрел им вслед.

Счастливый Матвейка, наблюдавший эту сцену из-за угла сарая, выбежал на двор и слёту радостными, неосознанными объятиями вцепился в тулуп отца. «Здорово ты, батя!» – пробубнил он где-то подмышкой у старика.

После нескольких солдатских налётов в деревне почти не осталось продуктов. Пока счастливы, сохранившие остатки муки в погребках, ещё могли печь хлеб, неудачливые обладатели крайних хат уже варили и ели древесную кору. Наступил мучительный голод и ежедневное ожидание оттепели, весны.

По всей деревне от голода начали умирать дети. Во многих семьях, чтобы хоть как-то продержаться самим, переставали кормить слабеньких да больных младенцев, и те кричали до своего последнего вздоха... Сердобольные бабы переживали за происходящее и вели разговоры. Судачили об этом и Егорины. Февронья не стеснялась, думала, что она

сейчас как дитё малое – не понимает ничего. Поэтому разговаривали при ней.

Семейству Рони этой зимой пришлось, как и всем, туго. В один из беспросветно пасмурных, холодных дней старший Егорин с самого утра долго чесал в затылке – обдумывал что-то. Наступило время обеда, но какой же это обед на всю семью – три чёрствых кусочка хлеба?! И тогда старик решился. Вышел в сени. Намотал на плечо крепкую верёвку. Прихватил топор. Злобно и отчаянно сверкнув глазами на выскочившую было в сени жену: «Татьяна, не трожь!..», поджал губы и, хлопнув дверью, пошёл к конюшне.

Так у семьи появилось мясо – а вместе с ним и надежда дожить до весны.

Мать семейства, вздыхая и радуясь, принялась хлопотать над приготовлением пищи. Марфа взялась ей помогать. Роня, безучастная ко всему, нянчила свой кочан у окна. И только Матвешка забился в угол и всё прятал лицо в рукаве, а когда накрыли на стол и кликнули его, неожиданно выбежал из дому – и не возвращался до вечера.

Пару недель прожили сытно. Скоро конина оказалась на исходе, и вот уже есть стало совсем нечего. Марфа с каждым днём всё хищнее поглядывала на Ронин кочан, вместе с которым та хоронилась в погребе во время налётов. Кочан был маленький и уже затасканный. Но в глазах Марфы это была еда.

Однажды старшая сестра не выдержала и внезапно накинулась на ослабевшую от голода Роню:

– Да отдай ты свою чёртову капустину, в доме есть нечего, погибаем все!!

Внезапно Марфа с каким-то нечеловеческим удесятерённым усилием рванула из Рониных объятий кочан, шмякнула об стол и в несколько нервных движений перепилила ножом пополам.

Что тут стало с бедной умалишённой!.. Они кричала, визжала, вопила, вырывалась из рук матери и отчима. Наконец освободилась и волчицей бросилась к сестре в такой иступленной ярости, что Марфа невольно шарахнулась прочь, выронив нож и забыв про недорезанную капусту.

Зелёные половинки, как неваляшки, покачивались на столе. Роня не стала преследовать сестру и склонилась над ними. Дрожащими руками оглаживала она их, попыталась приставить друг к другу как они были – капуста с мягким стуком развалилась обратно. После очередной попытки Роня, вцепившись побелевшими от напряжения пальцами в край деревянного стола, заплакала.

– Хоронить, похоронить надо. Умер, умер, забрали... Ванечка, Ванятка мой, родненький...

Резким движением горемычная сгребла со стола всё, что осталось от её чада, и, пряча лицо, сильно наклонившись вперёд, выставила перед собой одну руку, прямую как таран, толкнула входную дверь и выскочила без полушубка прямо на мороз, прижимая к животу другой рукой две капустные половинки.

... Глухая к уговорам матери и к извинениям раскаявшейся сестры, Роня с остекленевшим взглядом коченеющими руками упорно раскатывала снег, выпавший на метровую глубину. Тонкие красивые пальцы без варежек быстро покраснели, потом побелели, и вот уже их было не разогнуть... Но её это не останавливало. Несущие воду в свои дома соседки, видя такое, опускали ведра. Стараясь не пропустить ни секунды

зрелища, как-то бочком пробежали несколько шагов до чужого крыльца – громко звать подружек – и перебежками возвращались – занимать места у оградки.

– ...Роня! Брось! Прости меня! Прости, Роня! – испуганно бормотала выбежавшая на крыльцо Марфа.

– Февроньюшка, деточка, дорогая моя, не надо, кровинушка, не надо... – лепетала за спиной дочери неисправимо верившая в хорошее мать. Ей до сих пор казалось, что всего только её горячее материнское слово, идущее от сердца, окажется способно достучаться до загуманенного рассудка Рони, растопить лёд, сковавший сошедшее с ума от невыразимого горя сердце. И что если этого до сих пор ещё не произошло, значит, просто пока что было сказано слишком мало слов. Слишком мало горячей силы материнской любви было отдано несчастной Роне. Мать не догадывалась, что горе её дочери никак не связано с её, материнскими, силами и не подвластно им, невосполнимо ими. И если бы только могла, отдала бы ей всю свою кровь, всю жизнь. Но не знала, как это сделать...

– А-а-а! – заревела вдруг не своим голосом переставшая извиняться Марфа. – Довели, до белого каления довели... Тут от голода подышаешь, а эта... – она ухватилась за косяк распахнувшейся двери и стала стекать по нему медленными рывками.

К причитаниям матери и редкому бормотанию любопытных женщин добавились Марфины плаксивые всхлипы... Все эти звуки слились в невероятную какофонию, до краёв наполнившую собой, накрывшую будто пёстрой лоскутной скатертью чёрно-белый пейзаж улицы.

И на секунду наступила тишина. Бывает такая особая тишина, когда все звуки в одно мгновение утихают, будто нарочно для того, чтобы чья-нибудь готовая вырваться фраза оказалось всеми услышанной. Среди замеревшего на полуслове испуганного шёпота баб, словно железом по железу, лязгнуло:

– Оставь её, Таня, ненормальная она.

Эта простая фраза проколола пространство, как будто гигантским молотком за один мах вбили огромный железный гвоздь по самую шляпку. Высказалась сердобольная старушка Анфиса со склочным, во все встречающим характером, не удержавшаяся от того, чтобы не прояснить положение. Её казалось, если она не скажет сейчас – от её слов разорвёт её саму, да и Таня никогда не догадается о правде, а больше таких смелых, как Анфиса, чтобы сказать ей, среди женщин и не найдётся...

Татьяна промолчала в ответ. Только посмотрела укоризненно и испуганно, будто Анфиса раскрыла сейчас при её дочери тайну тайн, от которой дочка её рискует умереть прямо на этом же месте.

Роня обернулась на громкий голос. Внезапно осмыслившимися глазами посмотрела на баб – сначала сразу на всех, потом обвела толпу глазами поочередно. От её осуждающего, тяжёлого как свинец взгляда каждая поёжилась.

Февронья медленно заговорила. В её словах с плохо сдерживаемой силой откуда-то изнутри прорывалась чёрная буря.

– Я – ненормальная. Я. Ненормальная! А вы-то?.. Вы-то – нормальные?! Бабы, которые новорождённых детей своих в колыбелях умирать оставляют, потому что и так в семье голодных ртов слишком много?! Бабы, которые детей своих наживают до свадьбы, бездумно, а потом – вечными сиротами на чужие пороги подкидывают?! Капуста?!. Пускай

капуста! Но вы... Вы так живого человека полюбить не можете, как я своего Ванюшу капустного любила!! Каждый волосок на его голове по тысяче раз целовать была готова, всю себя ему отдала, только им снова и дышать начала! Вы-то, вы-то – нормальные?! Любить, любить... Вот вы чего не умеете...

Согнувшись пополам, юродивая что-то продолжала бормотать, перемежая слова всхлипами, но уже неразборчиво... Обхватив за плечи, Роню завели в дом. Она еле переставляла ноги.

Её усадили у печки, поближе к теплу. Обмороженные руки удалось отогреть в ушате едва теплой воды. Попытались вытереть ей заплаканные, разгоревшиеся, как при лихорадке, щёки. Но когда мать дотронулась до воспалённой кожи, она как громом поражённая отняла руку и стала креститься. Из бирюзовых глаз Февроньи текли обжигающе-ледяные слёзы...

* * *

До весны дожили тихо. Получили известия о гибели ушедших на войну мужа Рони и мужа её сестры. Марфин Данилка подрос и стал реже плакать. Февронья больше не показывалась на улице.

И только один раз нарушила она собственный придуманный, одной ей понятный запрет.

В тот прозрачно-безоблачный день в окне она увидела пролетающего аиста. Деревянная дверь, удивлённо скрипнув, выпустила затворницу прямо в весну.

...А Февронья бежала босиком по глинисто-коричневым лужам и кричала, впившись двумя бирюзовыми точками в безграничное, бирюзовое высокое небо:

– Аист!! Ты!! Это ты, проклятая птица! Верни мне Ванюшу! Ванечку моего верни!